



Есть ряд формальных критериев для выделения выдающегося писателя, при жизни уже, из сонма своих современников. Почему формальных? Потому что главным мерилom значимости любого художника во времени является само время. 200 лет – достаточная дистанция для такого измерения.

Когда размышляешь о недолгом земном бытии Николая Михайловича Языкова, не можешь не обозначить спервоначала эти критерии, которым поэт вполне соответствовал, и уже потом задумываешься об остальном. Трудно найти в русской поэзии поэта с подобной биографией, уже в юности так стремительно и щедро облаканного читателями и принятого с восторгом небывалым. Кажется, именно с медных труб, а не с воды и огня, хотя потом пришлось пройти их тоже, стала испытывать судьба этого статного и красивого, даже внешне похожего на добра-молодца из старой русской сказки, героя, поставленного вне суда привередливой критики (и если судимого потом, к примеру, Белинским или Добролюбовым, то с примечательными оговорками о непреложном значении и особом вкладе), кумира сразу нескольких поколений, ошалело выносимого в вечность на дьянах боготворившей его молодежи, безоговорочно принятого самыми высокими авторитетами и знатоками литературы от Рылеева и Жуковского до Гоголя, человека, которому мог бы завидовать, по собственным же словам, сам Пушкин, и завидовал бы, не будь изначально лишенным этой салербианской черты.

Любой бесталанный, некрепкий духом человек сломался бы на месте Языкова, пожалел, наверное, о том, что не десятью хотя бы, а только четырьмя годами позже Пушкина родился он. И ведь многие были сокрушены, раздавлены громадой пушкинского гения, скатываясь в эпитонство и осознавая абсолютную невозможность равноправного поэтического добрососедства.

Но время, наконец, отсеяло сорные зерна последних сомнений. Языков принадлежал к тем редким поэтическим самородкам, которые, находясь в катастрофически близком соседстве с Пушкиным-поэтом, сумели самостоятельно пойти в рост, найти свою траекторию движения, отстоять свою самостоятельность. Иван Киреевский в одной из лучших статей, когда-либо написанных о поэте, дружески отметил: «... где у других минута бессилия, там у него избыток сил; где у других простое влечение, там у Языкова восторг... мне кажется, что средоточием поэзии Языкова служит то чувство, которое я не умею определить иначе, как назвав его *стремлением к душевному простору*... господствующий идеал Языкова есть праздник сердца, простор души и жизни, потому господствующее чувство его поэзии есть какой-то электрический восторг, и господствующий тон его стихов – какая-то звучная торжественность. Эта звучная торжественность, соединенная с мужественною силою, эта роскошь, этот блеск и раздолье, эта кипучесть и звонкость, эта пышность и великолепие языка, украшенные, проникнутые изяществом вкуса и грации, – вот отличительная прелесть и вместе с тем особенное клеймо стиха Языкова. Даже там, где всего менее выражается господствующий дух его поэзии, нельзя не узнать его стихов по особенной гармонии и яркости звуков, принадлежащих его лире исключительно».

Русская поэзия намного обеднела бы без языковских строк (например, строку *железной волею Петра преображенная Россия* Пушкин взял в качестве эпиграфа к своему неоконченному роману «Арап Петра Великого»), без его славных студенческих песен, пронзительно печальной «Элегии» («Свободы гордой вдохновенью»), шаловливо-милого послания А. Пушкину («Не

вовсе чужа бога света»), роскошного в своих описаниях «Тригорского» («В стране, где вольные живали»), неистового «Пловца» («Нелюдимо наше море»), вдумчивых переложений псалмов, неудержимого «Коня» («Жадно, весело он дышит»), громогласно-патриотического «Д. Давыдову» («Жизни баловень счастливый»), спасительной «Молитвы» («Моей лампы одинокой»), драматичного, но не безнадёжного «Переезда через приморские Альпы» («Я много претерпел и победил невзгод»), исполненного благородства обращения «К Рейну» («Я видел, как бегут твои зелены волны»), возвышенно-трепетного «Землетрясения» («Всевышний граду Константина»), дерзко обличительного «К ненашим» («О вы, которые хотите преобразить, испортить нас»), в порыве признательности коленопреклоненных «Стихов на объявление памятника историографу Н.М. Карамзину» и других очевидных его поэтических шедевров.

Поэт-словотворец, он не опасался рисковать, привнося в русскую поэзию зазор студенческой вольницы и непроизвольно подчеркивая трагическую безбрежность русского национального характера, кроткого и в то же время необузданного в своей разгульности, безрассудного и смиренного в испытаниях. Захихватское «да будут наши божества вино, свобода и веселье», написанное в конце 1823 года в Дерпте, вряд ли случайно, спустя два года, станет соседствовать с пронзительно-высоким «Молю Святое Провиденье: оставь мне тягостные дни». А «бурноногий» (!) конь из одноименного стихотворения тридцатых годов, вырвавшись на волю, веселясь и щеголяя избытком сил, в итоге, будет понужден – для дела – вернуться «под седока».

Немало было сказано за двести лет о языковском стиле. Крупнейший поэт «серебряного века» Андрей Белый писал, что Языков бессознательно и даже несколько односторонне, впадая в утрирование, стремился освободить русский стих от замедленных темпов поэзии XVII века. Но, как представляется, никто не обратил внимания на то, что Языков, испытывая, быть может, вполне объяснимую, естественную потребность сдержать, стреножить вырвавшийся на свободу ритм, сделать более ровным горячее клочущее дыхание, часто прибегал в своих произведениях к такому «колючему» знаку, как точка с запятой, не гнушался ставить несколько восклицательных знаков подряд или, как иголкой, «прошивать» предложение двумя и более тире и т.п. Слово набрасывал своеобразную узду на разбегающиеся, расшалившиеся строчки: «несется тройка удалая, бренчат колеса; пыль столбом...», «Приди!...но я один; спокойно царство ночи; высоко шар луны серебряной встает; безмолвен горный лес; чуть льются зыби вод», «Цвети же, Русь! Добро и слава тебе, отчизне бурсака! Будь чествой первая держава, всегда грозна и величава, и просвещенна, и крепка!», «В последний раз приволье жизни братской, друзья мои, вкушаю среди вас; сей говор чаш – свободной дружбы глас – сей крик и шум – разлив души бурлацкой – приветствуют меня в последний раз».

Собственно это качество виртуозного поэта-обездличка имел в виду Гоголь, когда писал о Языкове в своей статье «В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность»: «С появлением первых стихов его всем послышалась новая лира...удаль всякого выражения, свет молодого восторга и язык, который в такой силе, совершенстве и строгой подчиненности господину еще не являлся дотоле ни в ком. Имя Языков пришлось ему не даром: владеет он языком, как араб диким конем своим, а еще как бы хвастается своей властью. Откуда ни начнет период, с головы, с хвоста, он выведет его картинно, заключит и замкнет так, что остановишься пораженный».



Фото Л. Хлебниковой

То же свойство таланта поэта подчеркивал профессор Московского университета Степан Шевырев: «Главное и особенное достоинство поэзии Языкова судьба как будто нарочно выразила в его имени. Поэзия русского языка в стихе была открыта ему до высшей степени совершенства».

Случайная, на первый взгляд, тавтология «Язык-Языков», непременно обыгрываемая многими, обрела символическое значение. В самом деле, в эпоху великого созидания литературного языка русского, в пушкинскую эпоху, не слишком ли «веселые», даже легкомысленные фамилии носили наши первые классики – Грибоедов, Пушкин, Гоголь? Не соответствующие, так сказать, серьезности момента, глобальности задач, которые в то время литература перед собой ставила. Впрочем, сейчас мы этот ономастический казус привычно не замечаем. Да не столь уж это и важно. А тогда? Тогда сам факт появления поэта с *такой* фамилией, и самое главное, фамилию эту оправдавшего, осознавался в трансцендентном смысле, выходящим за пределы обыденного читательского сознания.

Между тем глобальный, общероссийский масштаб дарования Языкова изначально был обусловлен и той значительной ролью, которую сыграли в его судьбе Симбирская губерния, Волга, к ним были обращены многие его стихи. Здесь, на родине, поэтом было создано не одно замечательное произведение: «Разбойники» («Синее влажного ветрила»), А.И. («Влюблен я, дева-красота...»), «Пловец», два послания А.Н. Татаринову («Здорово, брат! Поставь сюда две чаши...» и «Не вспоминай мне, бога ради...»), Д.В. Давыдову («Давным-давно люблю я страстно...»), А.Н. Вульфу («Прошли молодые наши годы!...»), П.В. Киреевскому («Где б ни был ты, мой Петр, ты должен знать, где я...»), Н.А. Языковой («Прошла суровая година вьюг и бурь»), Е.А. Баратынскому («Покинул лиру ты. В обычном шуме света»), элегия «Я помню: был весел и шумен мой день...», стихотворные сказки «О пастухе и диком вепре» и «Жар-птица».

«Складкой русской, краской местной ты поэт наш коренной! Пушкин был отец твой крестный, а Державин прадед твой...» – обращался с поминальным словом к Языкову его друг поэт Петр Вяземский, в другом своем стихотворении называя его «нашим заволжским соловьем». Впервые в русской литературе волжская тема («краска местная») зазвучала так полномерно, всеобъемлюще, самодостаточно. «Где твоя родина, певец молодой?» – «Где берег уставлен рядами курганов; где бились славяне при песнях баянов; где Волга, как море, волнами шумит... Там память героев, там край вдохновений, там все, что мне мило, чем сердце горит; туда горделивый певец полетит, и струны пробудят минувшего гений!» («Моя Родина», 1822 год), «Там, где в блеске горделивом меж зеленых берегов Волга вторит их отзывом песни радостных пловцов и, как Нил-благотворитель, на поля богатство льет, – там отцов моих обитель, там любовь моя живет!» («Чужбина», 1823 год), «Синее влажного ветрила над Волгой туча проходила; ревела буря; ночь была в пучине зыбкого стекла; порой огонь воспламенялся во тьме потопленных небес; шумел, трещал прибрежный лес и, словно Волга, волновался». («Разбойники», 1824 год), «Велик, прекрасен ты! Но Волга больше, краше, великолепнее, пышней, и глубже, быстрее, и шире, голубая! Не так, не так она бурлит, когда поднимется погодка верховая и белый вал заговорит! А какова она, шумящих волн громада, весной, как с выси берегов через ее разлив не перекинешь взгляда, чрез море вод и островов! По царству и река!...» («К Рейну», 1840 год).

Перефразируя последнюю строчку, не преувеличивая, можно сказать и о самом Николае Михайловиче Языкове: «По царству и поэт!»